

М. Горький

Мои университеты

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Г71

Г71 **Горький М.**
Мои университеты / М. Горький – М.: Книга по Требованию, 2021. – 88 с.

ISBN 978-5-4241-2765-6

Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю "исключительными способностями к науке".

- Вы созданы природой для служения науке, - говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.

Я тогда ещё не знал, что науке можно служить в роли кролика.

ISBN 978-5-4241-2765-6

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© М. Горький, 2021

Горький Максим
Мои университеты

А.М.Горький

Мои университеты

Итак - я еду учиться в казанский университет, не менее этого.

Мысль об университете внушил мне гимназист Н. Евреинов, милый юноша, красавец с ласковыми глазами женщины. Он жил на чердаке в одном доме со мною, он часто видел меня с книгой в руке, это заинтересовало его, мы познакомились, и вскоре Евреинов начал убеждать меня, что я обладаю "исключительными способностями к науке".

- Вы созданы природой для служения науке, - говорил он, красиво встряхивая гривой длинных волос.

Я тогда ещё не знал, что науке можно служить в роли кролика, а Евреинов так хорошо доказывал мне: университеты нуждаются именно в таких парнях, каков я. Разумеется, была потревожена тень Михаила Ломоносова. Евреинов говорил, что в Казани я буду жить у него, пройду за осень и зиму курс гимназии, сдам "кое-какие" экзамены - он так и говорил: "кое-какие", в университете мне дадут казённую стипендию, и лет через пять я буду "учёным". Всё - очень просто, потому что Евреинову было девятнадцать лет и он обладал добрым сердцем.

Сдав свои экзамены, он уехал, а недели через две и я отправился вслед за ним.

Провожая меня, бабушка советовала:

- Ты - не сердись на людей, ты сердисься всё, строг и заносчив стал! Это - от деда у тебя, а - что он, дед? Жил, жил, да в дураки и вышел, горький старик. Ты - одно помни: не бог людей судит, это - чорту лестно! Прощай, ну...

И, отирая с бурых, дряблых щёк скупые слёзы, она сказала:

- Уж не увидимся больше, заедешь ты, непоседа, далеко, а я - помру...

За последнее время я отошёл от милой старухи и даже редко видел её, а тут, вдруг, с болью почувствовал, что никогда уже не встречу человека, так плотно, так сердечно близкого мне.

Стоял на корме парохода и смотрел, как она там, у борта пристани, крестится одной рукою, а другой - концом старенькой шали - отирает лицо своё, тёмные глаза, полные сияния неистребимой любви к людям.

И вот я в полутатарском городе, в тесной квартире одноэтажного дома. Домик одиноко торчал на пригорке, в конце узкой, бедной улицы, одна из его стен выходила на пустырь пожарища, на пустыре густо разрослись сорные травы, в зарослях полыни, репейника и конского щавеля, в кустах бузины возвышались развалины кирпичного здания, под развалинами - обширный подвал, в нём жили и умирали бездомные собаки. Очень памятен мне этот подвал, один из моих университетов.

Евреиновы - мать и два сына - жили на нищенскую пенсию. В первые же дни я увидел, с какой трагической печалью маленькая серая вдова, придя с базара и разложив покупки на столе кухни, решала трудную задачу: как сделать из небольших кусочков плохого мяса достаточное количество хорошей пищи для трёх здоровых парней, не считая себя самоё?

Была она молчалива; в её серых глазах застыло безнадёжное, кроткое упрямство лошади, изработавшей все силы свои: тащит лошадка воз в гору и знает - не вывезу, - а всё-таки везёт!

Дня через три после моего приезда, утром, когда дети ещё спали, а я помогал

ей в кухне чистить овощи, она тихонько и осторожно спросила меня:

- Вы зачем приехали?

- Учиться, в университет.

Её брови поползли вверх вместе с жёлтой кожей лба, она порезала ножом палец себе и, высасывая кровь, опустила на стул, но, тотчас же вскочив, сказала:

- О, чорт...

Обернув носовым платком порезанный палец, она похвалила меня:

- Вы хорошо умеете чистить картофель.

Ну, ещё бы не уметь! И я рассказал ей о моей службе на пароходе. Она спросила:

- Вы думаете - этого достаточно, чтоб поступить в университет?

В ту пору я плохо понимал юмор. Я отнёсся к её вопросу серьёзно и рассказал ей порядок действий, в конце которого предо мною должны открыться двери храма науки.

Она вздохнула:

- Ах, Николай, Николай...

А он, в эту минуту, вошёл в кухню мыться, заспанный, взлохмаченный и, как всегда, весёлый.

- Мама, хорошо бы пельмени сделать!

- Да, хорошо, - согласилась мать.

Желая блеснуть знанием кулинарного искусства, я сказал, что для пельменей мясо - плохо, да и мало его.

Тут Варвара Ивановна рассердилась и произнесла по моему адресу несколько слов настолько сильных, что уши мои налились кровью и стали расти вверх. Она ушла из кухни, бросив на стол пучок моркови, а Николай, подмигнув мне, объяснил её поведение словами:

- Не в духе...

Уселся на скамье и сообщил мне, что женщины вообще нервнее мужчин, таково свойство их природы, это неоспоримо доказано одним солидным учёным, кажется - швейцарцем. Джон Стюарт Милль, англичанин, тоже говорил кое-что по этому поводу.

Николаю очень нравилось учить меня, и он пользовался каждым удобным случаем, чтобы втиснуть в мой мозг что-нибудь необходимое, без чего невозможно жить. Я слушал его жадно, затем Фукс, Ларошфуко и Ларошжаклен сливались у меня в одно лицо, и я не мог вспомнить, кто кому отрубил голову: Лавуазье - Дюмурье, или - наоборот? Славный юноша искренно желал "сделать меня человеком", он уверенно обещал мне это, но - у него не было времени и всех остальных условий для того, чтоб серьёзно заняться мною. Эгоизм и легкомыслие юности не позволяли ему видеть, с каким напряжением сил, с какой хитростью мать вела хозяйство, ещё менее чувствовал это его брат, тяжёлый, молчаливый гимназист. А мне уже давно и тонко были известны сложные фокусы химии и экономики кухни, я хорошо видел изворотливость женщины, принуждённой ежедневно обманывать желудки своих детей и кормить приبلудного парня неприятной наружности, дурных манер. Естественно, что каждый кусок хлеба, падавший на мою долю, ложился камнем на душу мне. Я начал искать какой-либо работы. С утра уходил из дома, чтоб не обедать, а в дурную погоду - отси-

живался на пустыре, в подвале. Там, обоняя запах трупов кошек и собак, под шум ливня и вздохи ветра, я скоро догадался, что университет - фантазия и что я поступил бы умнее, уехав в Персию. А уж я видел себя седобородым волшебником, который нашёл способ выращивать хлебные зерна объёмом в яблоко, картофель по пуду весом и вообще успел придумать не мало благодетней для земли, по которой так дьявольски трудно ходить не только мне одному.

Я уже научился мечтать о необыкновенных приключениях и великих подвигах. Это очень помогало мне в трудные дни жизни, а так как дней этих было много, - я всё более изошрялся в мечтаниях. Я не ждал помощи извне и не надеялся на счастливый случай, но во мне постепенно развивалось волевое упрямство, и чем труднее слагались условия жизни - тем крепче и даже умнее я чувствовал себя. Я очень рано понял, что человека создаёт его сопротивление окружающей среде.

Чтобы не голодать, я ходил на Волгу, к пристаням, где легко можно было заработать пятнадцать - двадцать копеек. Там, среди грузчиков, босяков, жуликов, я чувствовал себя куском железа, сунутым в раскалённые угли, каждый день насыщал меня множеством острых, жгучих впечатлений. Там предо мною вихрем кружились люди оголётно жадные, люди грубых инстинктов, - мне нравилась их злоба на жизнь, нравилось насмешливо враждебное отношение ко всему в мире и беззаботное к самим себе. Всё, что я непосредственно пережил, тянуло меня к этим людям, вызывая желание погрузиться в их едкую среду. Брет-Гарт и огромное количество "бульварных" романов, прочитанных мною, ещё более возбуждали мои симпатии к этой среде.

Профессиональный вор Башкин, бывший ученик учительского института, жестоко битый, чахоточный человек, красноречиво внушал мне:

- Что ты, как девушка, ёжишься, али честь потерять боязно? Девке честь - всё её достояние, а тебе - только хомут. Честен бык, так он - сеном сыт!

Рыженький, бритый, точно актёр, ловкими, мягкими движениями маленького тела Башкин напоминал котёнка. Он относился ко мне учительно, покровительственно, и я видел, что он от души желает мне удачи, счастья. Очень умный, он прочитал немало хороших книг, более всех ему нравился "Граф Монте-Кристо".

- В этой книге есть и цель и сердце, - говорил он.

Любил женщин и рассказывал о них, вкусно чмокая, с восторгом, с какой-то судорогой в разбитом теле; в этой судороге было что-то болезненное, она возбуждала у меня брезгливое чувство, но речи его я слушал внимательно, чувствуя их красоту.

- Баба, баба! - выпевал он, и жёлтая кожа его лица разгоралась румянцем, тёмные глаза сияли восхищением. - Ради бабы я - на всё пойду. Для неё, как для чорта, - нет греха! Живи влюблён, лучше этого ничего не придумано!

Он был талантливый рассказчик и легко сочинял для проституток трогательные песенки о печалях несчастной любви, его песни распевались во всех городах Волги, и - между прочими - ему принадлежит широко распространённая песня:

Не красива я, бедна,
Плохо я одета,
Никто замуж не берёт
Девушку за это...

Хорошо относился ко мне тёмный человек Трусов, благообразный, шеголевато одетый, с тонкими пальцами музыканта. Он имел в Адмиралтейской слободе лавочку с вывеской "Часовых дел мастер", но занимался сбытом краденого.

- Ты, Пешков, к воровским шалостям не приучайся! - говорил он мне, солидно поглаживая седоватую свою бороду, прищунив хитрые и дерзкие глаза. - Я вижу: у тебя иной путь, ты человек духовный.

- Что значит - духовный?

- А - в котором зависти нет ни к чему, только любопытство...

Это было неверно по отношению ко мне, завидовал я много и многому; между прочим, зависть мою возбуждала способность Башкина говорить каким-то особенным, стихоподобным ладом с неожиданными уподоблениями и оборотами слов. Вспоминаю начало его повести об одном любовном приключении:

"Мутноокой ночью сижу я - как сыч в дупле - в номерах, в нищем городе Свяязске, а - осень, октябрь, ленивенько дождь идёт, ветер дышит, точно обиженный татарин песню тянет; без конца песня: о-о-о-у-у-у..."

...И вот пришла она, лёгкая, розовая, как облако на восходе солнца, а в глазах - обманная чистота души. "Милый, - говорит честным голосом, - не виновата я против тебя". Знаю - врёт, а верю - правда! Умом - твёрдо знаю, сердцем - не верю, никак!"

Рассказывая, он ритмически покачивался, прикрывал глаза и часто мягким жестом касался груди своей против сердца.

Голос у него был глухой, тусклый, а слова - яркие, и что-то соловьиное пело в них.

Завидовал я Трусову, - этот человек удивительно интересно говорил о Сибири, Хиве, Бухаре, смешно и очень зло о жизни архиереев, а однажды таинственно сказал о царе Александре III:

- Этот царь в своём деле мастер!

Трусов казался мне одним из тех "злодеев", которые в конце романа неожиданно для читателя - становятся великодушными героями.

Иногда, в душевные ночи, эти люди переправлялись через речку Казанку, в луга, в кусты, и там пили, ели, беседуя о своих делах, но чаще - о сложности жизни, о странной путанице человеческих отношений, особенно много о женщинах. О них говорилось с озлоблением, с грустью, иногда - трогательно и почти всегда с таким чувством, как будто заглядывая во тьму, полную жутких неожиданностей. Я прожил с ними две, три ночи под тёмным небом с тусклыми звёздами, в душном тепле ложбины, густо заросшей кустами тальника. Во тьме, влажной от близости Волги, ползли во все стороны золотыми пауками огни матчевых фонарей, в чёрную массу горного берега вкраплены огненные комья и жилы - это светятся окна трактиров и домов богатого села Услон. Глухо бьют по воде плицы колёс пароходов, надсадно, волками воют матросы на караване барж, где-то бьёт молот по железу, заунывно тянется песня, тихонько тлеет чья-то душа, - от песни на сердце пеплом ложится грусть.

И ещё грустнее слушать тихо скользящие речи людей, - люди задумались о жизни и говорят каждый о своём, почти не слушая друг друга. Сидя или лёжа под кустами, они курят папиросы, изредка - не жадно - пьют водку, пиво и идут куда-то назад, по пути воспоминаний.

- А вот со мной был случай, - говорит кто-то, придавленный к земле ночью

тьмой.

Выслушав рассказ, люди соглашались:

- Бывает и так, - всё бывает...

"Было", "бывает", "бывало" - слышу я, и мне кажется, что в эту ночь люди пришли к последним часам своей жизни, - всё уже было, больше ничего не будет!

Это отводило меня в сторону от Башкина и Трусова, но всё-таки нравились мне они, и по всей логике испытанного мною было бы вполне естественно, если бы я пошёл с ними. Оскорблённая надежда подняться вверх, начать учиться - тоже толкала меня к ним. В часы голода, злости и тоски я чувствовал себя вполне способным на преступление не только против "священного института собственности". Однако романтизм юности помешал мне свернуть с дороги, идти по которой я был обречён. Кроме гуманного Брет-Гарта и бульварных романов, я уже прочитал немало серьёзных книг, они возбудили у меня стремление к чему-то неясному, но более значительному, чем всё, что я видел.

И в то же время у меня зародились новые знакомства, новые впечатления. На пустырь, рядом с квартирой Евреинова, собирались гимназисты играть в городки, и меня очаровал один из них - Гурий Плетнёв. Смуглый, синеволоосый, как японец, с лицом в мелких чёрных точках, точно натёртым порошком, неугасимо весёлый, ловкий в играх, остроумный в беседе, он был насыщен зародышами разнообразных талантов. И, как почти все талантливые русские люди, он жил на средства, данные ему природой, не стремясь усилить и развить их. Обладая тонким слухом и великолепным чутьём музыки, любя её, он артистически играл на гусях, балалайке, гармонике, не пытаясь овладеть инструментом более благородным и трудным. Был он беден, одевался плохо, но его удалству, бойким движениям жилистого тела, широким жестам очень отвечали: измятая, рваная рубаха, штаны в заплатках и дырявые, стоптанные сапоги.

Он был похож на человека, который после длительной и трудной болезни только что встал на ноги, или похож был на узника, вчера выпущенного из тюрьмы, - всё в жизни было для него ново, приятно, всё возбуждало в нём шумное веселье - он прыгал по земле, как ракета-шутиха.

Узнав, как мне трудно и опасно жить, он предложил поселиться с ним и готовиться в сельские учителя. И вот я живу в странной, весёлой трущобе "Марусовке", вероятно, знакомой не одному поколению казанских студентов. Это был большой полуразрушенный дом на Рыбнорядской улице, как будто завоёванный у владельцев его голодными студентами, проститутками и какими-то призраками людей, изживших себя. Плетнёв помещался в коридоре под лестницей на чердак, там стояла его койка, а в конце коридора у окна: стол, стул, и это - всё. Три двери выходили в коридор, за двумя жили проститутки, за третьей - чахоточный математик из семинаристов, длинный, тощий, почти страшный человек, обросший жёсткой рыжеватой шерстью, едва прикрытый грязным тряпьем; сквозь дыры тряпок жутко светилась синеватая кожа и рёбра скелета.

Он питался, кажется, только собственными ногтями, обедая их до крови, день и ночь что-то чертил, вычислял и непрерывно кашлял глухо бухающими звуками. Проститутки боялись его, считая безумным, но, из жалости, подкладывали к его двери хлеб, чай и сахар, он поднимал с пола свёртки и уносил к себе, всхрапывая, как усталая лошадь. Если же они забывали или не могли почему-

либо принести ему свои дары он, открывая дверь, хрипел в коридор:

- Хлеба!

В его глазах, провалившихся в тёмные ямы, сверкала гордость маниака, счастливого сознанием своего величия. Изредка к нему приходил маленький горбатый уродец с вывернутой ногою, в сильных очках на распушем носу, седоволосый, с хитрой улыбочкой на жёлтом лице скопца. Они плотно прикрывали дверь и часами сидели молча, в странной тишине. Только однажды, поздно ночью, меня разбудил хриплый яростный крик математика:

- А я говорю - тюрьма! Геометрия - клетка, да! Мышеловка, да! Тюрьма!

Горбатый уродец визгливо хихикал, многократно повторял какое-то странное слово, а математик вдруг заревел:

- К чорту! Вон!

Когда его гость выкатился в коридор, шипя, повизгивая, кутаясь в широкую разлетайку, - математик, стоя на пороге двери, длинный, страшный, запустив пальцы руки своей в спутанные волосы на голове, хрипел:

- Эвклид - дурак! Дур-рак... Я докажу, что бог умнее грека!

И хлопнул дверью настолько сильно, что в его комнате что-то с грохотом упало.

Вскоре я узнал, что человек этот хочет - исходя от математики доказать бытие бога, но он умер раньше, чем успел сделать это.

Плетнёв работал в типографии ночным корректором газеты, зарабатывая одиннадцать копеек в ночь, и, если я не успевал заработать, мы жили, потребляя в сутки четыре фунта хлеба, на две копейки чая и на три сахара. А у меня не хватало времени для работы, - нужно было учиться. Я преодолел науки с величайшим трудом, особенно угнетала меня грамматика уродливо узкими, окостенелыми формами, я совершенно не умел втискивать в них живой и трудный, капризно гибкий русский язык. Но скоро, к удовольствию моему, оказалось, что я начал учиться "слишком рано" и что, даже сдав экзамены на сельского учителя, не получил бы места - по возрасту.

Плетнёв и я спали на одной и той же койке, я - ночами, он - днём. Измятый бессонной ночью, с лицом ещё более потемневшим и воспалёнными глазами, он приходил рано утром, я тотчас бежал в трактир за кипятком, самовара у нас, конечно, не было. Потом, сидя у окна, мы пили чай с хлебом. Гурий рассказывал мне газетные новости, читал забавные стихи алкоголика-фельетониста Красное Домино и удивлял меня шутивным отношением к жизни, - мне казалось, что он относится к ней так же, как к толстомордой бабе Галкиной, торговке старыми дамскими нарядами и сводне.

У этой бабы он нанимал угол под лестницей, но платить за "квартиру" ему было нечем, и он платил весёлыми шутками, игрою на гармонике, трогательными песнями; когда он, тенорком, напевал их, в глазах его сияла усмешка. Баба Галкина в молодости была хористкой оперы, она понимала толк в песнях, и нередко из её нахальных глаз на пухлые, сизые щёки пьяницы и обжоры обильно катились мелкие слезинки, она стогнала их с кожи щёк жирными пальцами и потом тщательно вытирала пальцы грязным платочком.

- Ах, Гурочка, - вздыхая, говорила она, - артист вы! И будь вы чуточку покрашивше - устроила бы я вам судьбу! Уж сколько я молодых юношей пристроила к женщинам, у которых сердце сучает в одинокой жизни!

Один из таких "юношев" жил тут же, над нами. Это был студент, сын рабочего-скорняка, парень среднего роста, широкогрудый, с уродливо узкими бёдрами, похожий на треугольник острым углом вниз, угол этот немного отломлен, - ступни ног студента маленькие, точно у женщины. И голова его, глубоко всажённая в плечи, тоже мала, украшена щетиной рыжих волос, а на белом, бескровном лице угрюмо тарачились выпуклые, зеленоватые глаза.

С великим трудом, голодая, как бездомная собака, он, вопреки воле отца, исхитрился кончить гимназию и поступить в университет, но у него обнаружился глубокий, мягкий бас, и ему захотелось учиться пению.

Галкина поймала его на этом и пристроила к богатой купчихе лет сорока, сын её был уже студент на третьем курсе, дочь - кончала учиться в гимназии. Купчиха была женщина тощая, плоская, прямая, как солдат, сухое лицо монахини-аскетки, большие серые глаза, скрытые в тёмных ямах, одета она в чёрное платье, в шёлковую старомодную головку, в её ушах дрожат серьги с камнями ядовито-зелёного цвета.

Иногда, вечерами или рано по утрам, она приходила к своему студенту, и я не раз наблюдал, как эта женщина, точно прыгнув в ворота, шла по двору решительным шагом. Лицо её казалось страшным, губы так плотно сжаты, что почти не видны, глаза широко открыты, обречённо, тоскливо смотрят вперёд, но - кажется, что она слепая. Нельзя было сказать, что она уродлива, но в ней ясно чувствовалось напряжение, уродующее её, как бы растягивая её тело и до боли сжимая лицо.

- Смотри, - сказал Плетнёв, - точно безумная!

Студент ненавидел купчиху, прятался от неё, а она преследовала его, точно безжалостный кредитор или шпион.

- Скопфуженный человек я, - каялся он, выпивши. - И - зачем надо мне петь? С такой рожей и фигурой - не пустят меня на сцену, не пустят!

- Прекрати эту канитель! - советовал Плетнёв.

- Да. Но жалко мне её! Не выношу, а - жалко! Если бы вы знали, как она - эх...

Мы - знали, потому что слышали, как эта женщина, стоя на лестнице, ночью, моляла глухим, вздрагивающим голосом:

- Христа ради... голубчик, ну - Христа ради!

Она была хозяйкой большого завода, имела дома, лошадей, давала тысячи денег на акушерские курсы и, как нищая, просила милостыню ласки.

После чая Плетнёв ложился спать, а я уходил на поиски работы и возвращался домой поздно вечером, когда Гурию нужно было отправляться в типографию. Если я приносил хлеба, колбасы или варёной "требухи", мы делили добычу пополам, и он брал свою часть с собой.

Оставаясь один, я бродил по коридорам и закоулкам "Марусовки", присматриваясь, как живут новые для меня люди. Дом был очень набит ими и похож на муравьиную кучу. В нём стояли какие-то кислые, едкие запахи и всюду по углам прятались густые, враждебные людям тени. С утра до поздней ночи он гудел; непрерывно трещали машины швеек, хористки оперетки пробовали голоса, басовито ворковал гаммы студент, громко декламировал спившийся, полубезумный актёр, истерически орала похмельевшие проститутки, и - возникал у меня естественный, но неразрешимый вопрос:

"Зачем всё это?"

Среди голодной молодёжи бестолково болтался рыжий, плешивый, скуластый человек с большим животом, на тонких ногах, с огромным ртом и зубами лошади, - за эти зубы прозвали его Рыжий Конь. Он третий год судился с какими-то родственниками, симбирскими купцами, и заявлял всем и каждому:

- Жив быть не хочу, а - разорю их вдребезг! Нищими по миру пойдут, три года будут милостыней жить, - после того я им ворочу всё, что отсужу у них, всё отдам и спрошу : "Что, черти? То-то!"

- Это - цель твоей жизни, Конь? - спрашивали его.

- Весь я, всей душой нацелился на это и больше ничего делать не могу!

Он целые дни торчал в окружном суде, в палате, у своего адвоката, часто, вечерами, привозил на извозчике множество кулчков, свёртков, бутылок и устраивал у себя, в грязной комнате с провисшим потолком и кривым полом, шумные пиры, приглашая студентов, швеек - всех, кто хотел сытно поесть и немножко выпить. Сам Рыжий Конь пил только ром, напиток, от которого на скатерти, платье и даже на полу оставались несмываемые тёмнорыжие пятна, выпив, он завывал:

- Милые вы мои птицы! Люблю вас - честный вы народ! А я - злой подлец и кр-рокодил, - желаю погубить родственников и - погублю! Ей-богу! Жив быть не хочу, а...

Глаза Коня жалобно мигали, и нелепое, скуластое лицо орошалось пьяными слезами, он стирал их со щёк ладонью и размазывал по коленям, - шаровары его всегда были в масляных пятнах.

- Как вы живёте? - кричал он. - Голод, холод, одежда плохая, - разве это - закон? Чему в такой жизни научиться можно? Эх, кабы государь знал, как вы живёте...

И, выхватив из кармана пачку разноцветных кредиток, предлагал:

- Кому денег надо? Берите, братцы!

Хористки и швейки жадно вырывали деньги из его мохнатой руки, он хохотал, говоря:

- Да это - не вам! Это - студентам.

Но студенты денег не брали.

- К чорту деньги! - сердито кричал сын скорняка.

Он сам однажды, пьяный, принёс Плетнёву пачку десятирублёвок, смятых в твёрдый ком, и сказал, бросив их на стол:

- Вот - надо? Мне - не надо...

Лёг на койку нашу и зарычал, зарыдал, так что пришлось отпаивать и отливать его водою. Когда он уснул, Плетнёв попытался разгладить деньги, но это оказалось невозможно - они были так туго сжаты, что надо было смочить их водою, чтоб отделить одну от другой.

В дымной, грязной комнате, с окнами в каменную стену соседнего дома, тесно и душно, шумно и кошмарно. Конь орёт всех громче. Я спрашиваю его:

- Зачем вы живёте здесь, а не в гостинице?

- Милый - для души! Тепло душе с вами...

Сын скорняка подтверждает:

- Верно, Конь! И я - тоже. В другом месте я бы пропал...

Конь просит Плетнёва:

- Сыграй! Спой...